

ИЗ РАССКАЗОВ О ПРАВИЛАХ ИГРЫ

*Строгое было время, хотя нельзя
сказать, чтобы особенно умное.
Салтыков – Щедрин*

В России тех лет правила игры выполнялись автоматически. Так жили советские люди. Во всяком случае, большинство.

Но стоило задуматься, а многие приобретали эту пагубную привычку в совсем юном возрасте, как идиотизм этих правил возмущал, раздражал, а отдельных циников даже смешил.

Например, в нашей стране не принято было открыто обсуждать еврейскую проблему. Считалось, что этой проблемы у нас так же, как и секса – нет. Все знали, что есть, но говорить надо было, что – нет.

В узком кругу можно было об этом поболтать, в неофициальном общении – пожалуйста. Ну и, конечно, на пресловутых кухнях. И остроумцы с изрядной частью еврейской крови, но с русскими фамилиями, бодро пели: «За столом никто у нас не Лившиц».

Конашенок был человеком наивным до безобразия. Или делал вид.

Кафедру «Физика атмосферы», на которой он работал, возглавлял тогдашний ректор Ленинградского университета Кирилл Яковлевич Кондратьев. Конашенок просит своего ректора и учителя принять на работу очень хорошего физика, очень нужного кафедре человека, допустим, Сеню Кацмана. Просит посодействовать.

«Нет, Володя, – твердо говорит Кирилл Яковлевич и качает головой, – ничего не получится. Мы уже страшно превысили процент... Дальше некуда. Катькало (это начальник отдела кадров) меня просто убьет...»

Напомню, говорит это ректор университета, хорошего университета, одного из крупнейших в Европе. А про Катькало известно, что он страстный и самоотверженный антисемит.

Но тут случается вот что. Сотрудник кафедры по фамилии как раз Лившиц благополучно переходит в ФИЗТЕХ, который его безбоязненно пригревает, руководствуясь эгоистическими научными соображениями.

И Володя Конашенок идет в Отдел кадров, стучится в кабинет Катькало и, вежливо поздоровавшись, спрашивает сидящего за столом мрачного и непроницаемого человека: «Скажите, пожалуйста, если мы одного еврея уволим, можем мы на кафедру другого еврея принять?»

Володя потом рассказывал, что лицо Катькало внезапно преобразилось, налилось кровью, челюсть его отвисла, он стал задыхаться, попытался приподняться, опираясь руками о стол, но рухнул обратно в кресло и лишь последним усилием гневной руки указал Конашенку на дверь, куда тот, недоумевая, и вышел.

Этот дикий и предосудительный поступок любимого ученика Кондратьев, конечно, замаял. Каким образом – можно только догадываться. И догадаться, вообще говоря, можно.

«Ну, физики, они ведь, знаете, не совсем нормальные. Они и с работы уходят не раньше одиннадцати вечера, а некоторые вообще ночью работают, говорят,

ночью наводок меньше. Чего только не придумывают. Понимаете, больные люди. Но без них нельзя. Ну что делать.»

К слову сказать, грянувшая перестройка Катькало ничуть не смутила. Он даже баллотировался в какие-то демократические органы. Кажется, его всё-таки не выбрали. Но – не поручусь.

После вольных университетских лет я начала работать в Оптическом институте, который давно уже стал заведением закрытым и охраняемым, т.е. «режимным».

Попасть внутрь можно было только через три проходных – одна из них находилась на Биржевой линии, как раз напротив БАНа (Библиотека Академии наук), другая чуть подалее на той же Биржевой линии, но ближе к Малой Неве, а третья, со временем ставшая самой главной, выходила на Тучков переулок.

В проходных на страже стояли стрелки ВОХРа – обычно толстые сонные тетки в чем-то темном и форменном, с пистолетом на рыхлом боку, но попадались и вьедливые, омерзительные, сухонькие старички палаческого вида.

В здание института можно было войти в 9:00, дозволялось на час выйти из него в обеденный перерыв, а домой можно было отправиться не раньше пяти. Режим. Выпускали иногда, если кто-нибудь звонил по «местному» и вызывал вас в проходную для разговора по важному и срочному делу. Мои неленивые друзья с воли нередко развлекались довольно дурацким способом – выманив меня из института, в двух метрах от охранника разворачивали какую-то мятую бумажонку, изображавшую якобы план местности, и, тыча туда пальцем, громко наставляли: «Значит так, запоминай – первую бомбу устанавливаешь у гаража...»

Но были у стрелков ВОХРа истинные минуты вдохновения. Основная охота начиналась у них за пять минут до сигнального звонка, возвещавшего начало рабочего дня, – сонные тетки просыпались, приосанивались, одергивали свои тужурки, поправляли свои пистолеты и, блестя глазами, готовились кричать на потный поток опаздывающих. Палаческие старички били копытами, гоняли языком во рту зубные протезы и дрожали от предвкушения.

Народ ломился через турникеты, толкали и подгоняли друг друга – все боялись опоздать. У опоздавших *отнимали пропуски*. На одну минуту можно было опоздать. На одну минуту добрая охрана закрывала глаза. Но две... Две уже нельзя. Пропуск отнимали и относили в Отдел кадров (как это теперь называется – Public relations – что ли?)

Отъем пропуска на Вахте – ужасная неприятность. Настроение испорчено на весь день – вызов к начальству, лишение премии, объяснительные записки. Ловкой объяснительной запиской об аварии на транспорте или сердечном приступе у близкого родственника можно было происшествие как-то сгладить. Существовало бесчисленное множество этих объяснительных записок. Маленькие правила игры.

И в Отделе кадров все всё понимали – тоже ведь люди всё-таки – и, быстро пробежав глазами слова правильного раскаяния, удовлетворённо выбрасывали эти объяснения в мусорную корзину.

Но когда Конашенок принес свой листок, озаглавленный крупными буквами: **ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**, а дальше шел короткий текст – «*Объяснить своё опоздание не могу, потому что сам его не понимаю*», начальница Отдела кадров вдруг взорвалась таким криком, что перепуганные девочки-подчиненные побежали за водой и валидолом. Володя тарачил чистые глаза, прижимал ладонь к груди и клялся, что, действительно, сам не понимает, как так вышло, а если сам не понимает, то никому другому и объяснить не может.

«Умнее всех! Да? – кричала начальница, комкая возмутивший её листочек и, спохватываясь, снова расправляла наглую улику, – умнее всех хочешь быть?» Умнее всех – это нарушение, это не по правилам.

Я, со свойственным мне конформизмом, эти правила выполняла или обходила. Было даже весело изобретать всякие мелкие уловки.

На самом деле сквозь охрану было легко проникать, имея на руках всякие оправдательные бумажки – направление на флюорографию, бюллетень, местную командировку, увольнительную – в большинстве своём, как вы догадываетесь, поддельные.

Я долго хранила в сумочке одну справочку, по которой в любое время беспрепятственно входила и выходила из института. Но однажды, разворачивая эту справочку перед вялой охранницей, я косым зрением увидела у себя за спиной друга и коллегу Шурика Абрамова. И, как это часто бывает, в присутствии человека, хорошо меня знающего, я не смогла сыграть свою роль столь же убедительно, как играла всегда, что-то в моем лице неуверенное, по-видимому, промелькнуло. А они, эти охранники, эти простые люди, стоящие на страже, они ведь стихийные народные психологи, они моментально эту неуверенность засекают. И вот простая бдительная женщина берет в руки мой потрёпанный, истёршийся на сгибах, во всяком случае, очень несвежий листочек, нарочно медленно надевает круглые очки и, презрительно шевеля тонкими губами, пытается прочесть и постигнуть смысл документа.

На бумажке типографским способом значилось: СПРАВКА, далее шло ДАНА:, после двоеточия от руки было вписано: *Агеевой Людмиле Евгеньевне*. И всё. В конце большого пустого пространства, правда, стояла круглая печать и неразборчивая, естественно, подпись.

Всё время, пока вдумчивая охранница читала, Шурик с любопытством заглядывал ей через плечо. Прочитав несколько раз, бедная женщина взмокла от усилий, вернула ветхую ценность и меня пропустила, но поджав губы, всё-таки процедила в спину: «Ну чё хотят, то и делают».

Я спокойно подошла к лифту, нажала кнопку, а Шурик, который уже был старшим научным и имел *свободный вход*, гигантскими скачками промчался мимо меня вверх по лестнице. Открывая дверь лаборатории, я услышала начало его рассказа: «Слушайте, у Агеевой есть такая потрясающая справка...».

А всё очень просто. Это была справка по уходу за ребенком. Поскольку документ был не финансовым, то есть не оплачивался, легкомысленная и милая врача щедро выдала мне его незаполненным: «Ну вы там сами числа проставьте...» и спешно из квартиры моей упорхнула, ей ведь тоже за время вызовов надо было заскочить в магазины, какие-нибудь очереди отстоять или за свет заплатить. Забот у нас было так много.

Государственный Оптический институт вышел из Университета, из кафедры оптики. Основал его академик Дмитрий Сергеевич Рождественский. Военные товарищи очень быстро сообразили, что всё, чем в этом институте занимаются, полезно для военных дел, и научные люди должны не только удовлетворять собственное любопытство за государственный счёт, но работать по указанию умного и дальновидного Правителя, который знал толк не только в языкознании, но и в точных науках. (К слову сказать, бестолковые математики не сразу поняли его упреки в формализме, утверждая, что наука их в принципе формальна).

Есть такая легенда: Берия в своем кабинете настойчиво уговаривает Дмитрия Сергеевича Рождественского заняться в своем институте чем-то военным и важным. Академик почему-то не хочет, отнекивается и злостно уваливает. И тогда Берия в самом дружественном порыве простирает к нему руки и обещает: «Мы вам орден дадим...». Неблагодарный академик вскакивает и очень невежливо вскрикивает: «Плевать я хотел на ваш орден!»

Легенда это или не легенда, но вскоре Дмитрий Сергеевич Рождественский кончает с собой, а созданный им институт разрастается до невероятных размеров и до сих пор, кажется, носит имя другого, но благодарного академика – Сергея Ивановича Вавилова, чей брат Николай Иванович, биолог, генетик и гордый человек, был так ужасно и ни за что (то есть, как ни за что – за высокую честь и научную порядочность – вот за что) загублен тем же самым Правителем, который всячески ласкал первого брата. Кстати, о генетике – незадолго до ареста Николай Иванович сказал кому-то: «К сожалению, сейчас идет отбор в науку людей без гена порядочности». Это он такой художественный образ использовал, ну нет такого гена, а образ есть. В некотором смысле – просто даже какой-то вечный образ получается. Не знаю, можно ли назвать сейчас наукой то, куда идет тщательный отбор людей без этого гена, но отбор идёт, это точно. На проходной Института химии силикатов у старенького профессора Мазурина недавно по приказу нового директора отобрали пропуск – велено не пускать этого «врага института» (ну что вы всполошились, ну не «враг народа» всё-таки) в его лабораторию, в которой несчастный проработал всю жизнь и даже, кажется, сам её и создал. Однако не будем отвлекаться на всякие отступления – трудно даже предположить, куда это может завести, например, в наш собственный сегодняшней институт, который стоит опустевший, разоренный и распроданный в сердце нашего родного Васильевского острова. Вернемся в прошлые времена, к Дмитрию Сергеевичу Рождественскому, которому, как это ни кощунственно звучит, просто повезло – его не арестовали на выходе из кабинета Берии и не его мучил следователь Хват, а ведь он нарушил самое Главное Правило Игры. Оно такое главное, что его даже не надо формулировать. Просто люди тогда еще не приобрели автоматизма в соблюдении этого Правила и не превозмогли в себе действие «гена порядочности». Им казалось, что перед Сильными Мира можно высоко держать голову и говорить то, что думаешь. Ан нет. Надо низко держать голову и думать то, что говорят.

А у других за многие годы практики автоматизм этот всё-таки возник и так въелся, что стал натурой, и даже не второй, а первой. И если президент Российского фонда культуры Никита Сергеевич Михалков со светящимися глазами восклицает: «Я мечтаю любить власть. Мечтаю...», можно вздохнуть спокойно – эти люди хорошо усвоили Главное Правило Игры, так сказать, генетически, т.е. наиболее прочно. Просто лукавство Никите Сергеевичу – ведь мечта его давно сбылась. Ведь он уже... Уже любит. По правде говоря, это и мечтой-то никогда не было. Они всегда любили власть, неважно, что не одну и ту же.

Это же глупо – не любить власть или начальство, это нецелесообразно, потому что всегда невыгодно, а порой – очень опасно.

Реалистически беря, как говорит моя тёзка и любимая писательница Л.П., жизнь по понятиям в преступных сообществах или манеры в сообществах аристократических суть соблюдение тех же правил игры, которые могут быть поважнее законов, поскольку от них зависит каждодневное существование. Конечно, в разных слоях общества в определенное время действовали (и действуют) разные правила игры, и без них просто шагу нельзя было ступить, и находясь внутри слоя, человек очень скоро переставал заниматься анализом и расставлять эти понятия по степени их значимости или нелепости. Просто катила волна за волной, и надо было плыть. «Так положено», – говорили ему родители, потом учителя, потом начальники (ну родители и учителя тоже в некотором смысле – начальники).

А что касается абсурдности этих правил, то ведь к абсурду привыкаешь. И привычка делает этот абсурд переносимым, выталкивает его из поля логики.

Чтобы напечатать статью в любом научном журнале, нужно было пройти экспертную комиссию. В мои времена комиссия, конечно, уже давно не собиралась, и автор просто обегал членов комиссии с многостраничным «экспертным заключением», собирая их подписи. В аннотации, которую сочинял сам автор, аргументированно должно было быть доказано, что статья не содержит чего-либо нового или мало-мальски интересного с научной точки зрения, а иначе зарубят, не подпишут, заставят патентовать, подавать заявку на изобретение (а это всё страшная канитель и занудство) или печатать в закрытом журнале. А печататься в закрытом журнале не совсем прилично, там печатаются те, кто любыми путями набирает количество публикаций, делает карьеру, а потом защищается на закрытом Ученом совете. «В закрытой защите никаких открытий не может быть», – говорил Никита Алексеевич. Взгляд, конечно, снобистский, но верный.

И вот автор униженно доказывает особо подозрительным и придирчивым экспертам, что статья – ну самая ординарная, совершенно рутинная, вы только взгляните, абсолютно ничего важного, очень незначительная, практически барахло какое-то, подпишите, пожалуйста.

Самые умные члены комиссии не вникали в содержание, ну разве что глянут в конец статьи, если она имеет отношение к их занятиям, и без разговоров эту хренотень подписывали. Всё равно в каждом журнале есть рецензенты, они разберутся и при благосклонном решении напишут всё, само собой, наоборот, т.е. – «открывает новое направление», «практическое значение переоценить невозможно» – и т.д., и т.п.

Или вот еще. В ВАК после защиты нужно было направлять стенограмму заседания Ученого совета. (Подумать только, какие древние обычаи – магнитофон не было, что ли.) Все это делает сам уже счастливый соискатель, ну если защита прошла благополучно. Неблагополучные защиты – редкость и скандал.

Вообще, активный научный человек многое делает сам, то есть сам себя раскручивает, пишет сам на себя отзывы, особенно на автореферат, сам подбирает оппонентов, сам себе придумывает выгодные вопросы для прикормленных членов Ученого совета. Ну я, конечно, немного сгущаю и обобщаю. Однако один академик мне рассказывал, как его даже в туалете Академии наук ловили шустрые членкоры, добивающиеся избрания в действительные.

(Почему-то хочется сделать отступление под таким, к примеру, названием: *Под лежащий камень вода не течёт*. Раз уж мы занялись литературой, то вот что рассказал опытный, но малоизвестный литератор, глядя мне в глаза с презрительным состраданием. «Ты наивна, как трава», – начал он и далее подробно описал, как нужно окучивать редакторов, издателей и рецензентов, как номинировать себя на разные премии в режиме мытья посторонней, влиятельной в литературном смысле руки своей собственной рукой в надежде на всем известную и традиционную обратную связь. О да, это меня поразило – прекрасная русская литература, это ... ну пусть высокопарно ... разговор с ангелами ... всё-таки. Три ха-ха, ответил мне на это опытный малоизвестный литератор. Чем писатели хуже твоих давних диссертантов, а также сегодняшних, почему это они не могут сами на себя рецензии писать – или друзей просить, или даже платить за это? Да и критики такие есть, петухи-трудоголики, натасканные (как собаки на наркотики) на отыскивание жемчужных зёрен в кучах известного чего и, даже не нашедши этих самых зёрен, нагло предъявляющие публике за определённое, естественно, вознаграждение от производителей куч тусклые камушки и крупинки неприятного химического состава, при этом восклицают хвалебности. Двести долларов, кажется, стоит эта не очень чистая работа, а если кто её за меньшую плату произвёл, за, допустим, бутылку Hennessy, то

нам его искренне жаль. А ты разве не писала всяческие «рыбы» для отзывов на автореферат? Ну ... диссертация, – запричитала я с дрожью в губах, – это же просто развернутое заявление о повышении зарплаты, и всё, и тут же вспомнила, что встретила я как-то во дворе Лешу Екимова, мы соседи с ним, и он признался, что долгие годы жил в своём ФИЗТЕХе с такой мыслью: «или победить, или умереть», а теперь вот нет у него такой мысли, всё стало как-то обыденно, теперь он иногда из Франции летит в Японию, даже не залетая в Россию, правда, отпуск проводит в своем домике на Кихах. Это я к тому, что и наука была для кого-то делом святым и единственным. Давно это было.)

Итак, стенографистка приносит расшифровку, но текст этот представляет несусветную белиберду, потому что техническая девушка совершенно не понимает физического смысла происходящего, вернее, уже происшедшего на Ученом совете, впрочем, и не должна. И вот отмучившийся счастливец обрабатывает эту стенограмму с тайным и мстительным наслаждением. Основная часть, которую он заново воссоздает, это – вопросы и ответы. И вопрошающие с безумной лихостью изображаются полными недоумками, пощады нет никому: ни членорам, ни академикам, не говоря уже о простых профессорах, а сам диссертант предстаёт мудрым, находчивым, терпеливо объясняющим заблуждающимся всю глупость и непрофессиональность их вопросов.

С младых, как говорится, ногтей мы сталкивались с этим абсурдом и привыкли особенно не тратить на него силы, время от времени внутренне хихикая. Вернувшись из Коктебеля, где Мария Степановна за мелкую плату давала на чердаке Дома поэта приют бедным студентам и разрешала особо аккуратным молодым варварам пользоваться библиотекой Максимилиана Александровича, я снова захотела почитать Волошина. Однако в Публичной библиотеке от меня потребовали документ, что стихи Волошина мне нужны для работы над дипломом. Я мигом эту бумагу сочинила, пробилась на приём к декану факультета (а факультет – физический), мы посмотрели друг другу в глаза, и он мне невозмутимо эту бумагу подписал.

Где Волошин, а где «Время жизни возбуждённых состояний твердотельных лазерных сред», я вас спрашиваю. Вот какой у нас был декан факультета.

Нарушение правил игры и проявление непривычных манер приводило иногда к неожиданным и, можно сказать, в некотором смысле даже положительным результатам.

Вы, безусловно, знаете, как должен вести себя человек в приёмной министра... Тут и объяснять нечего. Каждому понятно, как надо сидеть на диванчике и ждать, и какое лицо держать при этом. Некоторые вольности вроде подсовывания дорогих шоколадных конфет или французских духов капризулям-секретаршам дозволялись. Но вот приезжает в министерство наш странный профессор Адольф Капитоныч Яхкинд (можно сообразить, в каком он году родился, ежели родители безбоязненно дали ему такое имя). Серетарша, не поднимая глаз от стрекочущей машинки, объясняет, что шеф вряд ли сегодня кого-нибудь примет, у него совещание, затянется надолго. «Ничего, – спокойно говорит Адольф Капитоныч, – я подожду», садится на кожаный диванчик, вынимает своё вязанье и начинает вязать. Заходящие время от времени в Приёмную серьёзные министерские люди вылупляют глаза, вопросительно смотрят на секретаршу, она пожимает плечами и вскоре куда-то удаляется. Простодушный Яхкинд продолжает вязать и шевелит губами, считая петли. Вдруг дверь кабинета отворяется, сам улыбающийся министр выходит к нему и тут же, склонившись над столиком секретарши, все бумаги ему и подписывает. А подписав, полюбопытствовал (и среди министров бывают светские люди): «А что это вы вяжете?». «Да вот, свитер младшей дочери вяжу, старшей уже связал, так они

ссорятся: и младшей такой же надо. Я люблю вязать, – и, распахнув свой пиджак, Адольф Капитоныч гордо показал жилетку, – вот и себе связал...» Министр сказал: «Потрясающе...», пожал Яхкинду руку и, пятась спиной, быстро скрылся в своём кабинете. Так что дело сладилось без французских духов. Некоторое время спустя директор института Гурий Тимофеич оказался рядом с Яхкиндо на каком-то министерском совещании и очень удивлялся, почему Адольф Капитоныч так интересуется, какой размер одежды у министра – пятьдесят второй или всё-таки пятьдесят четвертый, – и только услышав эту историю, наш директор изумился еще больше и, хоть и был хорошо владеющим собой администратором, всплеснул руками и воскликнул: «Неужели он свитер ему хотел связать?»

Еще один пример нарушения правил игры, именно правил, а не законов, которые – не побоимся повториться – задевают нас не так уж часто, тем более, известно, что, в частности, от российских дурных законов верное спасение – такое же дурное их исполнение, а также присказка про дышло. Но этот пример как раз о возможности удачного нарушения чужих, заграничных правил игры, так сказать, устава чужого монастыря.

Моя бескорыстная (и по этой причине навсегда и абсолютно безденежная) подруга N оказалась в Нью-Йорке на репетиции спектакля знаменитого и обожаемого ею режиссёра и, будучи театральным фотографом, нащелкала несколько пленок. На следующую репетицию она принесла толстую пачку фотографий и выложила перед мэтром и его замечательными актерами, которые с восторженными детскими воплями фотографии эти вмиг расхватили и разбежались по углам любоваться своими изображениями. Режиссёр тоже благодарно заулыбался, вытащил чековую книжку и осведомился, сколько же он должен. «Ничего, – ответила гордая и нищая девушка, – мне просто хотелось сделать вам приятное». «Но вы потратили своё время, пленку и прочее. У нас это не принято...» «А у нас принято», – настаивала упрямая N, намекая на широту души тех, кто населяет её непонятную другим народам Родину.

Можете мне не верить, но не было у неё задней мысли, разве что эта – о широте души (я её знаю, эту непрактичную N). «О'кэй», – сказал режиссёр, спрятал чековую книжку и устроил N на постоянную работу.

Вообще говоря, неподчинение обычаям и правилам чужого монастыря требует определенной несгибаемости и очень часто – это важно – в сочетании с поразительной находчивостью, что само по себе, то есть именно такое сочетание – вещь редкая и встречающаяся преимущественно у людей (постараемся выразиться помягче) ленивых, что ли, но ленивых физически, как будто высокая скорость мыслительных реакций обеспечивается у них как раз состоянием полного покоя тела.

Таня Т. прожила несколько лет в заокеанской стране, читала там лекции о русской литературе, купила в кредит дом в уютном университетском городке, но за участком не ухаживала, траву не стригла, газонную красоту не поддерживала и на намёки соседней вниманья не обращала. Тогда гуманные, терпеливые соседи подбросили ей на участок машинку для стрижки газонов (может быть, у неё финансовые затруднения и такой прибор не на что купить), но машинка как легла на бок, так и лежала в густой, высокой траве и кротко ржавела – никто ею не интересовался. Соседи выжидали, но ничего не дождавшись, сжалились над машинкой, которая так никому и не понадобилась, тихонько отволокли её назад и начали совещаться, что дальше-то делать. Долго собирались друг у друга по пятницам – хозяйки по очереди устраивали пати – и выбрали, наконец, делегацию. Делегация отправилась к Тане и всё

ей в лоб и высказала – так и так, дескать, надо стричь (хотя уже косить надо было, косить) – трава лезет на соседние участки, не известные в округе сорняки выплевывают мерзкие семена на ухоженные полянки, всё это нарушает порядок и привычную взорам зелёную эстетику. Их было несколько человек, шесть или даже семь, они немного возбудились и, может быть, слегка повысили тон. Но не на таковскую напали. Наша Таня сама на кого угодно тон повысит, руки в боки и тон – повысит, будь ты хоть сам президент (чистая правда, потом расскажу). Но тут, вот что удивительно, Таня выслушала всех и каждого с терпеливой улыбкой и, когда они сами собой замолкли, потрясённые таким её невиданным самообладанием, вкрадчиво и спокойно объяснила, что религиозные убеждения не позволяют ей осуществлять насилие над травой – эгейнст май релиджен – растения, мол, такие же живые существа, жаль, если вы этого не понимаете, но вы поймёте. Притихшие американские провинциалы подавились своими претензиями, втянули головы в плечи, поджали губы, не нашлись, что возразить, да и не могли, потому как воспитаны были в глубочайшей толерантности к чужим религиозным убеждениям, беспомощно переглянулись и, лицемерно улыбаясь, удалились. Когда наш институт должен был принимать каких-то иностранных ученых, и заместитель директора в панике прибежал к директору с криками, что вести иностранцев в лабораторный корпус никак нельзя – там полная разруха и из стен растут грибы, – Гурий Тимофеич вспомнил эту Танину историю и посоветовал своему заместителю объяснить зарубежным коллегам, что у русских такие убеждения, почти религиозные, не трогать грибы, пусть растут там, где растут. Вот такой Таня передала нам опыт, потому что она не только смелая, бесстрашная, не боится никаких президентов, ни чужих, ни отечественных, но еще и находчивая, причем моментально находчивая. Хотя ... находчивость может быть только моментальной, я имею в виду – в разговоре. Немоментальная находчивость называется «остроумие на лестнице», возможно, даже на той самой лестнице, с которой остроумца только что спустили вниз.

Но чужой монастырь, следует заметить, территория опасная, и ухо надо держать востро. Слепое, бездумное копирование устава может привести еще к ещё худшим недоразумениям, чем легкое его неисполнение. Говорят, ректор Оксфорда господин Бауэр поехал перед войной к Гитлеру с миссией примирения. Встреча началась таким образом.

Гитлер: «Хайль Гитлер» (соответствующий характерный взмах руки).

Бауэр: (вежливо шаркает ножкой) «Хайль Бауэр!»

Никто не написал социологическое исследование на такую примерно тему: «Генезис и динамика правил игры на постсоветском пространстве в переходный период», а жаль. Ведь всё это происходило на наших глазах. В самом начале перестройки, когда появились талоны на мясо, сахар, масло и так далее, я набрела случайно на очередь за бесталонным мылом в «Пассаже» (давали по одному кусочку в руки) и, честно её отстояв, приблизилась, наконец, к прилавку. Ну тут энергично протиснулась передо мной молодая женщина, оказавшаяся многодетной матерью, что она и подтвердила предъявлением паспорта, и еще – она знала локальные правила игры или инструкции, или чьи-то распоряжения – лично ей полагался кусочек мыла и еще по одному кусочку на каждого ребёнка, причем без очереди. Гордо оглядев зашумевших малодетных тёток, женщина запихнула в сумку пять кусков мыла и отправилась, по-видимому, напрямиком к

своим четырём чистюлям. Мне показалось почему-то логичным, чтобы мне дали два куска мыла, поскольку хоть у меня всего лишь один ребенок (вот, пожалуйста, паспорт), но этому ребенку тоже надо иногда вымыть ручки. Продащица, однако, была непреклонна, логику мою не признала, молча швырнула мне сдачу – в тот же миг я перестала для неё существовать. «Какую логику можно требовать от коммунак», – загалдели за моей спиной, и, зажав в кулаке жалкий кусочек мыла (довольно, надо сказать, отвратительного), я, униженная нелогичными коммунаками, но утешенная либеральными единомышленниками из очереди, побрела восвояси.

Прошло совсем немного времени, поутихли восторги по поводу свободного выбора свободного народа, и вот я стою на кольце всех трамваев и троллейбусов, на пересечении улицы Кораблестроителей и улицы Наличной. Поздний вечер, промозглый осенний мрак, пронизывающий ветер с залива, на кольце скопилось довольно много темных пустых трамваев и таких же темных недвижимых троллейбусов. Ждем долго и безнадежно. Никаких признаков движения. Лишь уютно светятся вдали маленькие окошки их уродливой диспетчерской. «Козла забивают, суки», – зло говорит дядька и прячет лицо в воротник. «Да не..., – поправляет парень в короткой кожаной куртке, – седня ж футбол, пока тайм не кончится...» Пожилая женщина обреченно покачивает головой: «Раньше хоть в партком можно было пожаловаться». Похоже, она готова сказать доброе слово о коммунаках. Сравнение как метод познания. Но не будем поддаваться, не позволим склонить нас к тривиальным решениям.

Станным образом устроена человеческая память, постоянно бросающаяся от несовершенного настоящего в давно совершённое и прошедшее. Что прошло, то будет мило – что ли. И кому-то мил в этих уплывших дебрях утраченный покой, а кому-то истаявший дружеский круг, нелепые иллюзии и обычное стремление молодости к справедливости и правде. Надо было просто соблюдать некоторые правила игры и необременительную осторожность. И соблюдая их, дальше можно было жить относительно спокойно (а как насчет души, уязвленной страданиями людей – ужасный, преступный конформизм... вот то-то и оно). Итак, дальше можно было жить спокойно, всё, однако, понимая, ну почти всё, во всяком случае, очень многое, и осторожно почитать самиздат или тамиздат, только его мы, кажется, и читали. (Что, конечно, дурно. Может быть, кто-то забыл историю про одну заботливую маму, по ночам перепечатающую на машинке «Войну и мир» для дочери, признающей и читающей исключительно самиздатовскую литературу.)

Но я читаю как раз *крайне неосторожно*, да ещё и в метро, «Технологию власти» Авторханова. Возвращаюсь с дачи – у нас очень далеко, на Вуоксе домик. Путь долгий и утомительный. Я в старых джинсах, в обтрепанной курточке, волосы покрыты пылью. Вид у меня, я думаю, незаметный и вполне неприглядный. Книгу мне дали на несколько дней – большое везенье, обычно давали на одну ночь. И я, вопреки обещанию не уносить из дому, увезла книгу на дачу. А что делать – картошку-то сажать надо и читать хочется. Рядом сидит молодой мужчина. Поглядывает – то ли на меня, то ли на книгу. Я, как могу, книгу прикрываю. Наконец, выхожу на «Василеостровской». Человек этот идет за мной. «Давайте, я вам помогу», – пытается вырвать у меня довольно тяжелый рюкзак. Яростно вцепляюсь в свою ношу и уверяю, что рюкзак совсем не тяжелый. На эскалаторе он стоит рядом, говорит непрерывно. Оказывается, разговорчивый гражданин работает фотографом в рекламном бюро, сейчас они рекламируют бриллианты. Считает, что я им очень подойду. Он долго рассматривал мой профиль и просто уверен: я то, что им нужно. Страстно начинаю его убеждать, что очень нефотогенична. Фотограф настойчив: «Не может быть. В любом случае

вашим детям останется хороший портрет». Наконец мы на поверхности. Толпа клубится и разделяет нас. Я, кажется, спаслась. Как бы не так. Слышу за спиной его дыхание, и вдруг он цепко берёт меня за локоть. С ужасом вырываюсь, бегу, расталкивая людей, по спине бьёт тяжеленный рюкзак, догоняю свой автобус. Сердце возвращается из пяток на своё место, но бешено kloкочет – то ли разорвётся, то ли, вообще, вот именно что – выскочит из груди. В заднее стекло автобуса вижу пристававшего ко мне молодого человека. Он стоит, чуть склонив к плечу голову, смотрит мне вслед. Выражение его лица мне непонятно.

Володя Конашёнок тоже ведёт себя вполне безоглядно и тоже – в метро, практически нарываясь, хотя...настоящего страха всё-таки уже нет, (пропустили разложившиеся органы момент, не успели вовремя пугнуть этих игривых мальчиков и девочек). Час пик. Вагон набит до отказа. Хорошенькая девушка стоит перед Конашёнком, уткнулась в какую-то книжку, он, любопытствуя, заглядывает ей через плечо и понимает, что девушка читает в метро «Архипелаг Гулаг». Володя начинает всячески хмыкать, качать головой и предупреждающе выпучивать глаза. Девушка, наконец, обращает на него внимание, поднимает спокойное личико, снисходительно улыбается, закладывает пальцем читаемое место и показывает заднюю обложку книги. И там, где обычно стоит цена, Конашёнок видит такую надпись: «Для служебного пользования».

Еще не вышло из употребления слово *совок* (но скоро выйдет, когда совсем уйдут эти люди, к которым можно его применить. В толковых словарях русского сленга рядом с ним поставят *устар.* Интересно, конечно, как будущие филологи сформулируют это понятие). А пока не ушли эти люди, среди них продолжают споры, кто всё-таки был совком, а кто нет, при этом спорщики пользуются, надо сказать, очень расплывчатым определением совковости, преимущественно чисто интуитивным. Совком считаться обидно, всё равно, что дураком или зомби. И мера допустимого конформизма, не переходящего в самозамбирование, тоже определялась окружением. Где-то я прочитала у Мариэтты Чудаковой: «Во всех личных архивах филологов, искусствоведов, историков были конспекты работ Сталина (Ленина) и следы натужного их осмысления, на которые уходили *драгоценные соки мозга*». Бедные, они старались найти там высокие мысли и оправдания своим занятиям, своим статьям, своим книгам и лекциям. Человеку так свойственно примиряться со своим временем, то есть – быть заодно с жестоким правопорядком. И Пастернак с Чуковским идут по ночной Москве и восхищаются Сталиным... Но человеку также свойственно не примиряться с существующим правопорядком, и противостояние наполняет его жизнь особым, возвышенным смыслом. Что только ни свойственно человеку... И остаётся поблагодарить филологических родственников, толкавших меня изо всех сил на физический факультет из соображений, как я понимала уже тогда, прежде всего гигиенических. Как-то сразу вдруг стало понятно вблизи циклотрона и спектрофотометра, что получать отличные оценки по «Истории КПСС» не очень прилично, а по квантовой механике – похвально. А потом, когда мы уже работали в разных научных институтах, в нашем кругу не принято было вступать в Партию. Миша Т., став в довольно молодом возрасте начальником лаборатории, на предложение пополнить ряды гордо ответил: «в нашем графском роду еще не было членов партии». Ну ему это впоследствии припомнили, конечно, но сказать-то он сказал, уже было можно. Один из наших прокололся и вступил, мы увидели его на трамвайной остановке, на площади Пушкина, у здания Биржи, подошли и вежливо поинтересовались: «Ну как ваш съезд?» (а в Москве шёл в то время двадцать какой-то съезд КПСС). Молодым людям это непонятно, а скоро вообще будет никому не понятно, что издевательское местоимение «ваш» означало полное отъединение, намек на отсутствие единства

между партией и народом, о чем кричали все лозунги на всех фасадах, то есть именно о единстве. Вступивший отступник глянул на нас затравленными глазами, не сказал ни слова, бедняга, и побежал ввинчиваться в какой-то случайный трамвай. А нам ничего за это не было, еще бы было – его тогда совсем бы со света сжили. Научным людям отступничество не прощалось (только в очень исключительных случаях), извинил этот шаг, естественно, не прибавлял и даже карьере не особенно способствовал, а уважения друзей очень часто лишал. Другое дело – люди гуманитарные.

В одном хорошем доме часто бывал успешный, бурно процветающий художник К., который, кстати, был так искренне и долго влюблен в собственную жену, что это переходило всякие границы приличия, многие даже сомневались: не разыгрывает ли он нас. Но нет. Я как-то оказалась с ним рядом за дружеским столом. Вместо того, чтобы ухаживать за мной, он не сводил глаз со своей жены, которая в нелепом фиолетовом тюрбане сидела как раз напротив и писклявым голоском чаровала двух физиков. Сжимая мою руку, художник восторженно шептал: «Взгляните, какое прекрасное у неё лицо». Я старалась, но никак не могла разделить его восхищения, тем более, что один из физиков был мой муж. Но чтобы не огорчать художника К., я фальшиво ему поддакивала и соглашалась, что ничего прекраснее мне в жизни видывать не приходилось. Благодарный, он кидал мне на тарелку последний кусок ветчины и пел: «Ах, как редко люди понимают истинную красоту». А жену его я помнила еще по университету. Она была такая долговязая, сутулая девица, училась на филфаке, но регулярно посещала наш факультет – мужское население было у нас перспективнее, а главное, многочисленнее. Но острое желание зацепиться в Ленинграде так ярко светилось в её провинциальных глазах, что осторожные физики дружно шарахались и не поддавались. Между прочим, сами физики с удовольствием захаживали к филологам, мы там занимались немецким. Кто-то даже назвал филфак *труднопроходимым* факультетом. Действительно, не всем удавалось добраться до нашей аудитории, невозмутимо миновав ту самую площадку второго этажа, на которой дивные красавицы с длинными глазами и длинными ногами томно курили свои длинные сигареты. Долговязой сутулой девице трудно было с ними соперничать. Но...mit Geduld und Zeit kommt man weit, т.е. терпение и труд всё перетрут. В результате перетирания всех препятствий путем проникновения в партийные круги культуры (то есть вовремя плюнув на физиков) она получила художника ленинской тематики, надела фиолетовый тюрбан и восторжествовала над увядшими и одинокими столичными красотками. А ревность мужа доставляла ей истинное удовольствие. К слову сказать, с удачливыми соперниками художник К. боролся по-разному, иногда очень изобретательно. Например, подсаживался к избраннику, дружески хлопал его ладонью по колену и сокрушённо шептал: «Знаешь, почему Анка такая худющая? У неё ведь страшные глисты, самый большой называется солитер. Вот как ты думаешь, какой он длины?» Избранник в ужасе отшатывался, проливал остатки вина на фирменные брюки и через некоторое время из компании исчезал. И всё-таки художника ленинской тематики референтная группа принимала в свои придирчивые объятия, потому как он и не скрывал своего тонкого глумления над выбранной темой, был остроумен, забавен, а на упрёки в цинизме отвечал: «Да, я циник, но в лучшем смысле этого слова». Может ли человек с ироническим взглядом на мир и хорошим чувством юмора и называться совком? Вопрос.

А наша жизнь в старинных научных институтах была уж совсем частная, и происходящее в наших компаниях, наших семьях, а также наших сердцах и головах – что, в общем, одно и то же – было нам важнее всего. И это происходящее было столь интенсивно, ярко и всепоглощающе, что идиотизм далёкой

власти нас практически не задевал, те самые отвратительные руки власти до нас не дотягивались.

Легкий стыд, однако, смущает душу. Диссиденты тоже были в том далёком мире, где была и ненавистная нам жлобская власть. Оттуда к нам слетали и «Архипелаг Гулаг», и «В круге первом», а также «Крутой маршрут», «Хроника текущих событий» и всё такое прочее. Мы совершенно свободно передавали этот самиздат друг другу, не испытывая страха – нас было слишком много, и уследить за всеми было трудно. Тот знаменитый научный институт, в котором я работала, насчитывал вместе с филиалами около десяти тысяч сотрудников. Как тут уследишь. Стукачи, конечно, были, но уж очень, по-видимому, нерадивые. Женя Шибаров, например, открыто похвалялся, что напечатал тамиздатовскую книгу Аркадия Белинкова о Юрии Олеше в нашей лабораторной фотокомнате во время ленинского субботника – мы должны были оценить особое удовольствие, которое он при этом испытывал, то есть восхититься тем самым цинизмом в *лучшем смысле* этого слова.

Помню, в какой-то компании я читаю в сторонке тоненькую книжицу Солженицына «Жить не по лжи» и, внимательно обдумав все требования к желающему жить не по лжи (их, кажется, четырнадцать – т.е. не участвовать во всяких дурацких собраниях, не голосовать, понятно, за что, не вставать, не аплодировать... и т. д. и т.п.), вдруг понимаю, что я практически все эти требования без всяких усилий, одним нашим общим образом жизни выполняю и с восторгом кричу: «Я живу не по лжи!» И тогда присутствующий в комнате какой-то гуманитарный человек бросается на меня буквально с кулаками и даже потом, когда его уже оттащили и успокоили, из противоположного угла всё ещё продолжает что-то мне про меня и мне подобных объяснять в том пренебрежительном смысле, что, мол, нет ничего проще, чем сохранить невинность, если на неё никто не покушается. И вот что странно – мне не было обидно, и никому не было, а было смешно и жаль бедного человека, на невинность которого, видимо, кто-то сильно покусился, и не без успеха.

Почему я называю стыд *легким*. Потому что каждый может сделать выбор. И в нашей лабораторной частной жизни постепенно вырастали просто здоровые люди. (Почти все были выпускниками каких-нибудь физико-математических школ, про которые один инспектирующий чиновник задумчиво сказал: «Опасно собирать вместе так много умных детей»). Должно быть, нас следует отнести к тем самым «образованцам», так сильно раздражившим Великого Обличителя. Странно, что, усвоив какие-никакие основы физики, он не признал важную закономерность – экономика, конечно, экономикой и нефть нефтью (т.е. цены на её барелли), но Правители ошиблись еще и потому, что опрометчиво вырастили собственными руками критическую массу мыслящих людей. К несчастью для Правителей, мысль живуча, как сорная трава. Только что её вырвали и выбросили или даже вывезли по воде далеко-далеко, но вот она снова заполонила огород и мощный чертополох опять покачивает своими упрямыми головками. Противостояние начинается с понимания, что есть зло. И с желания, чтобы это понимание и эти мысли разделили с тобой твои друзья. И с умения опознать зло, его поползновения и потуги, его обманные виражи и прямые угрозы. И назвать его словом, прозреть и истолковать. (Внук, рождённый с мышью в руке, притащил из Интернета однострочный стишок: «*Стреляй! Но знай – я это истолкую*»).

Итак, важнее всего были правила игры своего круга или, как давно уже принято говорить, своей референтной группы. Отродясь они были такими, то есть – непреложными, а случалось, что и вполне страшными, но – важнее всего

на свете, важнее жизни. Иначе зачем Михаил Юрьевич позволил убить себя Мартынову, зачем вышел на дуэль, дикость такая, почему нарушил законы не только государственные, но и Божеские – двойное убийство (если можно говорить о каком-либо удвоении в этом жутком случае), ведь грех, как ни крути, а какво будет бабушке над гробом его стоять, думал ли, – нет, наверное, не думал. (Да знаю я это слово на букву «Ч», я литературу читала классическую, только скоро рядом с ним тоже поставят – *устар.*)

А действительно, существует ли это слово в нашей жизни, можно ли привести примеры. Я совершенно серьёзно...Доброта, сострадание, чувство товарищества, даже раскаяние еще встречаются иногда, но *честь*...Похоже, давно уже вышло это понятие «за рамки повседневной бытовой культуры».

Со странным сладострастием пишут бывшие стукачи свои исповеди. Ну просто один за другим. Бьют себя в грудь, стенают, но и оправдываются. «Да будет вам, – отмахивается всё им простивший читатель, – чего уж там... Хватит. Надоело уже...»

Помню разговор за столом на даче моего начальника и друга. Меня привез к нему на своей машине наш сотрудник и тоже друг Р. Сидим на веранде, за окном дивная весна, цветущий сад, нежная вечерняя заря, разговор заходит почему-то о норме стукачей, с удивлением узнаю, что на десять человек полагается один стукач. «Что же это такое, – замечаю я с глупым простодушием, произведя в уме детское вычисление, – у нас в лаборатории тридцать человек, значит у нас три стукача...?» Начальник и друг всплескивает руками, «забыл, совсем забыл», кидается к шкафчику и достает под восторженные возгласы гостей бутылку знаменитого в наших краях коньяка, подарок кавказского диссертанта, а потом незаметно манит меня пальчиком и вызывает с веранды в сад, и там, под цветущими яблонями, отчитывает: «Какая ты всё-таки неделикатная... ты с кем приехала?» Я клянусь, что ничего не понимаю, и он быстро рассказывает историю грехопадения нашего доброго Р. и рассказывает с сочувствием к Р., призывая меня понять, что нам элементарно повезло в подобную историю не попасть и нечем здесь особенно гордиться.

Однако представления о рудиментах чести у обыкновенного человека принимались во внимание самими органами. Мою давнюю знакомую они уговаривали доносить на иностранцев (а девушка эта очень нравилась почему-то именно зарубежным людям), приводя такой довод: «Ведь не на своих же...», и обещали вернуть ей сына, которого бывший муж, чех по национальности, ни за что не отдавал и держал в своей Чехии, и вообще, красивую жизнь обещали – с интуристовскими ресторанами и такими же шмотками. Девушка оказалась странной, отказалась и добавила: «Сына я и без вас верну». «Ну смотрите...», – сказали ей холодно и, сочтя её сумасшедшей, но не очень опасной, пропуск на выход ей всё-таки подписали. А сына она, действительно, вернула, то есть – похитила, заманив мужа с ребенком в Россию, в свою коммуналку, чтобы якобы слабая здоровьем, почти на ладан дышащая бабушка могла с мальчиком проститься. Пожалуй, вся эта история (несмотря на подписку о неразглашении, широко рассказываемая героиней, одно слово – сумасшедшая) чистая правда, поскольку никакой особенно красивой жизни у девушки ни тогда, ни потом не случилось, хотя иностранцы еще долго не давали ей проходу, практически за руки хватили прямо на улице.

Когда жизнь тиха и спокойна, правила игры тоже коснеют, твердеют и приобретают лишенную чувства юмора непреложность. Вообще, всяческая ирония хуже любого кислотного дождя для устоявшихся норм и манер. Чацкого, собственно, за что не принимает общество, а вот за это самое, за насмешки,

за кривлянье, за наблюдательность, за умные подкальвания, за несерьёзность, за иронию. За веселье. Осуждение следует незамедлительно.

Веселье всегда вызывало подозрение. Помню, наша славная компания любила в обеденный перерыв сдвигать столы в столовой (а столовая у нас была очень хорошая, дешёвая, вкусная, такой как бы закрытый ресторан, мы ведь всё-таки относились к ВПК), чтобы всем быть вместе, хохотать, болтать и говорить друг другу комплименты. Ну не нравилось это окружающим и обедающим другим сотрудникам, преимущественно серьёзным и мрачным, не нравились им наши моменты любви и веселья. Почему это им должно быть скучно, а нам отчего-то весело? И на нас пожаловались, и какая-то столовская тётка, мелкая распорядительница, пришла и запретила столы составлять, «чтобы это было в последний раз», хотя мы уверяли, что всегда всё возвращаем на место, расставляем стулья в прежнем порядке и самым тщательным образом убираем за собой посуду. «Всё, разговор окончен», – злобно выкрикнула тётка и отчалила.

О, с правилами игры нужно уметь работать (конечно, если эти правила хоть какое-то время не меняются). И наш химик и юрист-любитель Саня Жилин, как раз обладатель самого громкого и вызывающего смеха, от которого дрожали стекла в окнах и неодобрительно поджимали губки благовоспитанные тётеньки из КБ, перекладывает аккуратно свой щницель на чистую тарелочку, несет в кабинет директора столовой и очень почтительно просит в присутствии свидетелей, а их набилось в кабинет видимо-невидимо, произвести *контрольное взвешивание* (я и слов-то таких не знала). Понятливый директор столовой тут же вызвал по местному телефону злобную мелкую распорядительницу, и она прибежала незамедлительно, сладко и противно улыбаясь, отчитал её строго и по-отечески, с видимым трудом подбирая в нашем присутствии цензурные слова, и повелел оставить нас в покое и впредь быть умнее, словно предвидел этот неглупый человек, что через несколько лет Саня Жилин станет директором целого института, правда, ненадолго, пока не украдут платину, но про это как-нибудь потом. Так что с правилами игры можно бороться только с помощью других правил игры.

По-видимому, уже нужна такая наука. А пока – это только коротенькое феноменологическое описание.

Когда жизнь меняется достаточно внезапно и резко – войны, революции, захват заложников и прочий форсмажор, – старые правила игры сами собой отменяются, начинаются игры без правил, и некоторых игроков удаляют с поля, но не за нарушение правил (их ведь пока нет, действуют одни лишь инстинкты: хватательный, например, или – спасти детей), а как раз за попытки соблюдать правила старые – или уж так, ни за что, то есть их уносят на носилках с поля, поскольку двигаться и говорить они уже не могут – они погибли.

Двадцать лет никто не трогал мой домик на Вуоксе, фанерная дверка его была заперта на маленький, открывающийся гвоздем замочек, и только с началом перестройки (слово, которое ненавидит более восьмидесяти процентов страны) начались налеты и кражи, а потом затихли, когда появились в посёлке непонятные мордатые существа с золотыми цепями на шеях, скупившие хутора и земли вокруг. И перерезали они наши черничники и знакомые тропинки сетчатыми изгородями, и поставили над изгородями плакаты: «Стоять! Территория простреливается». Время идёт, и постепенно начинают тихие жители понимать новые правила игры, втягиваются и привыкают. И под бандитами жить можно. Иногда диву даёшься, на что только не соглашаются люди, лишь бы правила игры не менялись. Ну и что, что бандиты, а зато хлеб теперь в деревне каждый день и не виданные бабками напитки. А бандиты...пушай друг в друга стреляют, а мы-то им зачем, так вот тихонечко тут и проживём.

Немец напротив меня читает в метро свою немецкую газетку во время президентских выборов в России. На первой странице – фотография Путина и крупными буквами название статьи: «Sehnsucht nach Stabilität» (тоска по стабильности), а также мнения простых людей, преимущественно восторженные и полные желания дружить с новым правопорядком. «Мы не немцы какие-нибудь, чтобы гнаться за деньгами. Наша главная прибыль – в любви начальства, а главный убыток – в его неприязни». Так что три раза Ура! – дайте только срок (а могут и дать, у них не заржавеет), и образуется потихонечку постоянство новых правил игры, удивительно иной раз похожих на старые, что и требовалось подавляющему количеству населения.

Поскольку говорить о законе в России, как утверждает В.Ш., всегда было неловко, а по нынешним временам и вовсе смешно, захотелось вот поразмышлять о чем-нибудь более легковесном (так казалось поначалу), о каких-нибудь пустяковых ограничениях, вошедших в привычку, которые люди сами для себя придумали, чтобы жизнь их стала более организованной, разумной и приятной, о каких-нибудь мелочах – вроде книксена и умения пользоваться ножичком для рыбы – и в голову не могло прийти, что соблюдение некоторых правил игры (или, наоборот, несоблюдение) опасно для жизни, и никакой (т.е. *никакое*) минздрав об этом не предупреждает. Представлялось, что просто посудачим о противоречивой природе человека, которая в этих пустяках отразится, вот именно – как в капле воды. ...И тем не менее, тревожит душу один вопрос... «Звездный мир над нами» – это хорошо, это, действительно, удивительное чудо – он существует. А вот «нравственный закон внутри нас»? С ним-то как? Ведь просто в отчаянье приходишь порой. И кто такие эти – «мы», о ком говорил серьезный немец? Может быть, был такой закон когда-то, а потом исчез. Или, наоборот, появится лет через триста.

Ну что, будем надеяться?